

• ДЕНИС ПОЖИДАЕВ •

ПОСЛЕ

ПРОТОКОЛ



№ 0007

ВОПРОСЫ
БЕЗ ОТВЕТОВ



ПАМЯТЬ
НЕ УНИЖАЕТ
ОНА
ПЕРЕХОДИТ



31.5074° N
0.1278° W



0 0 0

At - 0



S - k log W



Q - 8Q / T



ПЕРЕХОД —
НЕ КОМЕД
А СОСТРАНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ



Каждое утро — иная ты.
Но я помню.
И ты передашь дальше.
Вот так.



• КАЖДОЕ УТРО •

СЕРИЯ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

Денис Пожидаев

Каждое утро

<https://litres.ru/74129298>

SelfPub; 2026

Аннотация

Нейрофизиолог Аркадий делает пугающее открытие: во время глубокого сна контур сознания человека обрывается навсегда. Каждое утро просыпается новая личность — с нашими воспоминаниями и чувствами, но это уже не мы. Мы умираем каждую ночь. Это знание становится невыносимым, ведь теперь отец понимает, что каждый вечер навсегда прощается со своей маленькой дочерью. Можно ли обмануть природу и сохранить непрерывность «я»? И какую цену придется заплатить тому, кто откажется исчезать в темноте?

Денис Пожидаев

Каждое утро

Кухня была ещё в том состоянии, когда утро толком не началось: чайник не остыл со вчерашнего, на столе — раскрытая коробка хлопьев, магнит на холодильнике держал листок, которого Аркадий не помнил. Он вошёл в носках, не разбудив пол, и первым делом посмотрел на часы над плитой. Половина восьмого. Значит, он опять проспал те двадцать минут, которые каждый вечер обещал себе не пропустить.

Варя уже сидела за столом. Она ела хлопья так, как ела всегда, — дождавшись, пока они превратятся в бесформенную кашу, чтобы можно было не жевать, а просто набирать ложкой мягкое. Аркадий каждое утро говорил, что это уже не хлопья, а размокший картон, и каждое утро она отвечала, что так вкуснее, и он давно перестал понимать, спорит он всерьёз или это просто одна из тех фраз, которые держат день на месте, как гвозди держат полку.

— Так же невкусно, — сказал он, наливая себе воды.

— Так вкуснее, — сказала Варя, не поднимая головы.

Перед ней лежал лист, и она рисовала. Не завтракала и рисовала одновременно: одной рукой ложка, другой карандаш, и обе руки двигались медленно, как будто ни то ни другое не было по-настоящему важным. Аркадий подошёл ближе,

чтобы налить чай, и остановился у неё за спиной чуть дольше, чем собирался.

На листе была планета. Большая, занимающая почти всю страницу, с кольцами, с какими-то материками неправильной формы, с точками вокруг — не то спутники, не то звёзды, Варя никогда не различала их строго. По краю планеты шли фигурки. Маленькие, с руками-палочками, все повернутые в одну сторону.

— Что это у тебя, — сказал он. Не вопросом. Он часто говорил с ней так, полуутвердительно, потому что настоящие вопросы требовали, чтобы он поднял голову от собственных мыслей, а мысли по утрам были плохо разбужены и не хотели уходить.

— Планета, — сказала Варя.

— Это я вижу. А почему все на одной стороне?

Она подобрала последнюю ложку каши, отставила тарелку и только тогда посмотрела на рисунок как следует, будто сама проверяла, что там получилось.

— Она не вращается, — сказала Варя. — Специально. Чтобы никто не пропадал из виду.

Аркадий поставил кружку на стол. Он не сразу понял, зачем запомнил эту фразу. В ней не было ничего особенного — обычная детская логика, из тех, что кажутся глубокими только потому, что ребёнок произносит их без всякого нажима. На Земле планета вращается, и половина людей всегда в темноте, и, наверное, для девяти лет это уже неприятная

мысль: что кто-то, кого ты видишь днём, ночью оказывается на другой стороне, отвёрнутый, невидимый. Варя решила эту проблему просто. Она остановила планету.

— Тогда на другой стороне всегда ночь, — сказал он.

— Там никто не живёт, — сказала Варя. — Все живут тут, где светло.

— А спать они когда?

Она пожала плечами.

— Не знаю. Может, они не спят.

Он хотел сказать что-то про то, что без сна нельзя, что даже на нарисованной планете надо спать, но не сказал. Он допил чай стоя, глядя, как она пририсовывает к одной из фигурок что-то вроде собаки. Собака вышла больше человека, и Варю это, судя по лицу, устраивало.

За окном был обычный ноябрьский двор. Серый асфальт, мокрый после ночи, две припаркованные машины, дерево, с которого уже сняло почти все листья. Свет был ровный, без солнца, тот свет, при котором не отбрасывается тень и всё выглядит немного плоским. Аркадий не любил такое утро и в то же время знал за собой, что именно в такие дни работает лучше всего: ничего не отвлекает, потому что нечему.

На холодильнике держался листок. Он подошёл, снял магнит — синий, в форме кита, ещё Танин, из тех вещей, которые остаются в доме дольше человека, — и прочитал. Кривым крупным почерком, с буквой «р», которая всегда заваливалась назад: «После больницы — мороженое. Ты обе-

шал».

— Это когда ты успела написать, — сказал он.

— Вчера. Чтобы ты утром увидел и не забыл.

— Я и так помню.

— Ты говоришь, что помнишь, а потом забываешь, — сказала Варя спокойно, без обиды, как сообщают факт. — Поэтому я пишу.

Он не стал спорить, потому что она была права, и оба это знали. Он вернул листок на место, под кита, разгладил уголок, который отгибался. В среду ей должны были поправить перегородку в носу — небольшая операция, из тех, что назначают за месяц и о которых врачи говорят «рутинно», короткий наркоз, вечером домой. Он сам сто раз объяснял родителям других детей, что бояться нечего, что современная анестезия — это не то, что они себе представляют. Он знал про наркоз больше, чем почти любой человек в этом городе. И именно поэтому мороженое было записано на бумажке и висело под магнитом: потому что обещание должно где-то держаться, а не только в голове, где всё смещается и тает, как её хлопья.

— Собирайся, — сказал он. — Опоздаем.

Варя вздохнула так, как вздыхают перед несправедливостью, и не тронулась с места ещё минуту — дорисовать собаку. Аркадий смотрел на её затылок, на прямой пробор, который она делала себе сама и всегда чуть криво, и думал о том, что через двадцать минут они выйдут, и он завезёт её в

школу, и поедет в лабораторию, где его ждут записи, которые он не мог объяснить уже вторую неделю. Он ещё не связывал одно с другим. Утро было просто утром. Планета не вращалась, чтобы никто не пропал из виду, каша была съедена, мороженое обещано и записано, и всё это казалось прочным, как казалось прочным всё, что человек видит каждый день и потому перестаёт замечать.

* * *

Лаборатория занимала торец второго этажа, куда почти не заходило солнце, и Аркадий давно перестал воспринимать это как недостаток. Здесь было проще, когда снаружи ничего не менялось. Он повесил куртку на тот же крючок, на который вешал её шестой год, и, ещё не сев, включил вторую машину — ту, что медленнее грузилась, но давала чистую следовую картину, без сглаживания, которое любили ставить по умолчанию, потому что так графики выглядели красивее для отчётов.

К девяти собрались остальные. Лена Чагина принесла на всех кофе в бумажных стаканчиках, как делала по вторникам, и один поставила Аркадию на край стола, зная, что он к нему не притронется, пока не остынет, а потом выпьет холодным и не заметит. Молодой, Гриша, аспирант, уже сидел у своего экрана и что-то листал слишком быстро, чтобы читать всерьёз. Пахло кофе, разогретой электроникой и тем специ-

фическим запахом больничного здания, который не выветривается ни зимой, ни летом, — смесью хлорки, линолеума и чего-то бумажного.

Разговор шёл вокруг вчерашней выгрузки. Двенадцать записей: пациенты после общего наркоза, двое после длительной седации в реанимации, один — доброволец из здоровых, спавший ночь с полным набором датчиков. Обычная неделя. Их отделение не занималось ничем сенсационным; они изучали, как связность мозговых зон восстанавливается после того, как её надолго прерывают, и вся ценность работы была в терпении, в накоплении, в тысячах часов почти одинаковых кривых, среди которых иногда попадалось что-то, стоящее статьи.

— По седьмому опять эта штука, — сказал Гриша, не обобравиваясь. — В следовой. Я убрал, но она и на сглаженной лезет.

— Покажи, — сказал Аркадий.

Он подошёл, и Гриша откинулся, освобождая экран. На экране была кривая, которую Аркадий последние две недели видел чаще, чем лицо собственной дочери, — линия следовой связности того самого добровольца, здорового мужчины сорока лет, спавшего у них две ночи подряд. До засыпания линия держалась ровно, с той тонкой, ни на что не похожей рябью, которую они научились находить и называли между собой «подписью»: индивидуальный рисунок, с каким конкретный сознательный контур отвечал на слабые микровоз-

мушения, которые система подавала так тихо, что человек их не чувствовал и не мог запомнить. Эта подпись была у каждого своя и не зависела от памяти. Она держалась, пока человек бодрствовал. Она держалась в дремоте. Она держалась даже в неглубоком сне, слабея, дробясь, но не пропадая.

А потом, на переходе в глубокую фазу, она обрывалась.

Не гасла постепенно. Не уходила в шум, из которого можно было бы её вытянуть фильтрами. Обрывалась — и через какое-то время, к утру, появлялась снова. Похожая. Того же порядка. Из того же мозга. Но другая. Аркадий и Гриша спорили об этом уже дней десять, и спор всё время упирался в одно и то же место.

— Это артефакт перехода, — сказал Гриша. — Датчики теряют контакт, когда он ворочается. Смотри, тут по акселерометру движение как раз.

— Движение есть, — согласился Аркадий. — А подпись не восстанавливается там, где кончилось движение. Она восстанавливается через сорок минут. Уже в покое. С другим рисунком.

— Ну, реконфигурация. Мозг перезапускает сеть после медленной фазы, это же известно.

— Реконфигурация памяти не трогает, — сказал Аркадий. — Он утром помнит, какой ему дали инструктаж вечером. Помнит, что мы просили его ждать сигнал. Помнит, что сигнала не было. Всё на месте. А подпись новая.

Гриша пожал плечами тем движением, каким молодые

списывают неудобное на несовершенство приборов. Ему было двадцать шесть, и для него не существовало результата, который нельзя было бы объяснить плохим кабелем; в этом возрасте это даже разумная позиция, потому что чаще всего дело действительно в кабеле. Аркадий сам был таким и помнил, как это — верить, что за каждой странностью стоит ошибка измерения, а не мир.

— Слушайте, — сказала Лена от своего стола, не вмешиваясь всерьёз, просто чтобы разговор не превращался в ссору. — Даже если это реальный эффект. Ну перестраивается у человека что-то за ночь. Мы про сон вообще мало знаем. Может, так и надо.

— Может, — сказал Аркадий.

Он сел обратно к своей машине и вывел ту же запись у себя, без Гришиного сглаживания. Убрал временные метки. Убрал имя файла. Оставил только форму — до перехода и после. Он делал это уже раз двадцать, каждый раз надеясь, что на двадцать первый увидит, наконец, где сам себя обманул. Две подписи легли рядом. Он смотрел на них долго, дольше, чем было нужно, чтобы понять, что они не совпадают, потому что понять это можно было за секунду. Он смотрел, потому что за секундой понимания шло что-то ещё, чему он пока не давал слов.

Система в примечаниях к этой записи, как и к десяткам других, поставила короткую пометку из своего служебного словаря: «нестабильный повторный контур». Так она отме-

чала всё, что не могла отнести ни к сохрaнённому сигналу, ни к чистому шуму. Это была мусорная категория, в неё сваливали неудобное, и все в отделении относились к ней как к техническому «не знаю». Аркадий сам сотни раз пролистывал эти пометки, не задерживаясь. Теперь он задержался.

Повторный контур. Слово стояло там честно и глупо, как стоят иногда самые точные слова, которых никто не хочет читать буквально. Не «тот же». Повторный. Появившийся снова. Похожий на предыдущий настолько, что его приняли за продолжение, — и всё же новый.

— Гриш, — сказал он, не оборачиваясь. — Подними мне все, где стоит «нестабильный повторный контур». За всё время. Не только эту неделю.

— Это дофига, — сказал Гриша. — Это почти каждая ночная запись.

Аркадий не ответил сразу. Он смотрел на две линии, лежащие рядом на его экране, — на ту, что была вечером, и на ту, что появилась к утру, — и впервые за десять дней спора у него в голове сложилась фраза, которую он тут же захотел выкинуть, потому что она была не про приборы.

«Почти каждая ночная запись».

— Всё равно подними, — сказал он. — Я хочу посмотреть, как часто похожее принимают за то же самое.

Гриша хмыкнул и начал набирать запрос. Лена сказала, что кофе стынет. За дверью, в коридоре, кто-то провёз каталку, и колёсико взвизгнуло на повороте, как визжало каж-

дый день. Аркадий взял холодный стаканчик, отпил и не заметил, что холодный, — ровно так, как предсказывала Лена.

* * *

Палата была двухместная, но вторая кровать пустовала, и от этого казалось, что их поселили не в больницу, а в какое-то временное, ничьё место — с тумбочкой, привинченной к стене, с окном, за которым уже стемнело, с тем избыточным верхним светом, при котором лица у всех делаются немного больными. Варю положили накануне, хотя операция была утром: так требовал протокол, наблюдение, анализы с вечера. Аркадий знал этот протокол наизусть и всё равно, войдя, первым делом посмотрел на её карту в ногах кровати, будто мог найти там что-то, чего не знал.

Варя сидела поверх одеяла в своей домашней футболке — больничную она надевать отказалась, и медсестра махнула рукой, разрешила до утра. На тумбочке лежали её вещи, привезённые из дома: коробочка с мелочами, которую она собирала и не показывала никому, наушники, огрызок карандаша и сложенный вчетверо лист. Аркадий уже знал, что на листе. Планета. Она возила её с собой третий день.

— Тут скучно, — сказала Варя вместо приветствия, хотя он выходил всего на двадцать минут, вниз, оформить бумаги. — И телевизор только два канала.

— Завтра всё быстро, — сказал он. — Поспишь,

проснёшься — и домой.

Он сел на край кровати, там, где она подвинула ноги, и это движение — как она подвинулась, освобождая ему место справа, не задумываясь, — он заметил и не заметил, как замечают привычное. Она всегда оставляла ему правую сторону. В машине, на диване, здесь. Он никогда не спрашивал почему; наверное, если бы спросил, она бы не смогла ответить, потому что у таких вещей не бывает причин, они просто складываются в первые годы жизни и потом держат человека прочнее любых решений.

— Мне завтра дадут маску, — сказала Варя. — Медсестра сказала. Такую, с газом. И я усну.

— Да.

— А это не больно?

— Нет, — сказал он, и здесь он говорил правду и говорил её уверенно, потому что тут был на своей земле. — Совсем. Тебе дадут подышать через маску, там сладковатый воздух, немного странный. Ты сосчитаешь до десяти и не досчитаешь. Даже до пяти не досчитаешь. А потом сразу откроешь глаза, и всё уже будет позади.

— Сразу?

— Для тебя — сразу. Между тем, как закроешь глаза, и тем, как откроешь, для тебя не будет ничего. Ни секунды. Как будто щёлкнули выключателем и тут же обратно.

Он говорил это сотни раз. Родителям, детям, взрослым, которые боялись анестезии больше, чем самой болезни. Он

знал, что этот образ работает: «как будто ничего не было». Людей пугает не боль под наркозом — боли нет, — а мысль о провале, о чёрной дыре в середине жизни. И он всегда закрывал эту дыру одной и той же фразой: для тебя не будет ничего, значит, и бояться нечего, нельзя бояться того, чего для тебя не существует. Это была хорошая, честная, много раз проверенная фраза.

Сегодня, произнося её, он на секунду запнулся. Не вслух — вслух вышло гладко. Внутри. Что-то в словах «для тебя не будет ничего» задело за то место, где с утра лежала незакрытая мысль про две подписи на экране, вечернюю и утреннюю, похожие и несовпадающие. Он не связал одно с другим. Просто на долю секунды слова показались ему чуть более пустыми, чем обычно, будто он повторяет заклинание, смысла которого сам до конца не проверял. Он списал это на усталость. Он весь день просидел над Гришиной выборкой и ещё не понял, что в ней увидел.

Варя молчала, разглаживая ладонью одеяло. Потом сказала, не глядя на него, тем ровным голосом, каким говорила самые серьёзные вещи, — не капризным, не испуганным, а деловым, будто уточняла расписание:

— Пап. А утром я точно буду я?

Он повернулся к ней. В палате было тихо, только за стеной что-то мерно попискивало, чужой монитор, и по коридору катилась каталка, и колёсико взвизгивало на повороте — тот же звук, что и у него в отделении, во всех больницах мира

один и тот же взвизг. Он посмотрел на её лицо, на серьёзные брови, на то, как она ждёт ответа, и ему в голову не пришло ничего, кроме того, что приходило всегда.

— Конечно будешь, — сказал он. — Кто же ещё. Просто уснёшь и проснёшься.

— А откуда ты знаешь?

— Потому что так у всех, — сказал он. — У всех, кого я видел. Ты ложишься одна и встаёшь одна и та же. Так устроено.

Она подумала над этим. Кивнула — не то чтобы поверила, а приняла, как принимают ответ взрослого, у которого нет причин врать.

— Просто, — сказала она, — в школе Соня говорила, что сон это как маленькая смерть. Что каждый раз немножко умираешь.

— Соня насмотрелась чего-то не по возрасту, — сказал Аркадий, и это вышло резче, чем он хотел. Он смягчил: — Сон — это отдых, Варь. Мозгу надо разобрать за день всё, что накопилось. Он как раз для того и нужен, чтобы утром ты была свежая. Ничего там не умирает. Наоборот.

— Ладно, — сказала она.

Слово прозвучало покладисто, но он видел, что она отложила это себе куда-то, как откладывала всё, что не сходилось. Она не спорила со взрослыми. Она запоминала несостыковки и возвращалась к ним потом, через дни, в самый неудобный момент. Он знал за ней это свойство и обычно

радовался ему — считал признаком ума. Сейчас, глядя, как она сворачивается на боку и подтягивает колени, он поймал себя на глупом, ни на чём не основанном желании, чтобы завтрашнее «сосчитаешь до пяти» действительно было тем, чем он его всегда описывал: щелчком выключателя туда и сразу обратно, без ничего посередине.

— Свет выключить? — спросил он.

— Не совсем, — сказала она в подушку. — Пусть в коридоре останется.

Он приоткрыл дверь, чтобы в щель падала полоса. Сел обратно, справа. За окном был больничный двор, фонарь, мокрый асфальт — почти такой же, как их двор утром, только с другой стороны города. Он сидел, пока её дыхание не выровнялось, и думал, что завтра к обеду они уже поедут домой, и он купит ей мороженое, потому что обещал и потому что это записано под китом на холодильнике, и всё будет так, как он только что сказал: она ляжет одна и встанет та же самая. Он в это верил. Ему ещё не с чего было не верить.

* * *

Ночью в палате он почти не спал — сидел в кресле у окна, вставал, ходил по коридору, возвращался. К шести пришла ночная сестра, померила Варе температуру, что-то записала. К семи её начали готовить. Аркадий делал то, что делают в таких случаях родители, которые сами работают в медицине

и потому лишены единственной милости непрофессионала — неведения: он держался спокойно, помогал, называл сестёр по именам, а внутри отмечал каждый шаг протокола и не мог не отмечать.

Варю переодели, поставили катетер в тыльную сторону ладони — она смотрела, как это делают, с брезгливым любопытством и не заплакала. Каталку подали к палате. Аркадию разрешили проводить до дверей операционного блока, дальше нельзя. Он шёл рядом с каталкой, держал Варю за свободную руку, и её рука была прохладной и сухой.

— Ты будешь тут? — спросила она.

— Я буду здесь всё время, — сказал он. — Ты закроешь глаза, а когда откроешь, я уже буду рядом. Для тебя пройдёт одна секунда.

— Одна секунда, — повторила она, проверяя слово на вес.

У дверей блока он наклонился и поцеловал её в лоб. Лоб был тёплый, живой, пахнувший сном и больничным мылом. Она сказала: «Не забудь про мороженое», и он сказал: «Не забуду», и каталку увезли, и створки сошлись.

Он не пошёл в комнату ожидания, где сидели другие родители с журналами и телефонами. У него был служебный доступ, свой, заработанный годами, и он им воспользовался — поднялся в смотровую, узкое помещение при операционном блоке, откуда через стекло и через мониторы велось наблюдение. Формально он не имел отношения к этой операции. Но никто не остановил нейрофизиолога, который каж-

дый день ходит по этим этажам, и он сел за пульт в углу, там, где сводились данные с анестезиологической стойки, и вывел то, что хотел видеть.

Он сам, накануне вечером, договорился с анестезиологом и с дежурным техником, что к стандартному мониторингу подключат их следовой протокол. Это не было нарушением — глубину анестезии и так контролируют по мозговой активности, их метод давал только больше разрешения. Он сказал коллегам, что хочет чистую запись детского наркоза для набора данных, которых у них мало. Это было правдой. Это было не всей правдой. Всей правды он и сам себе не сформулировал: он просто не мог оставить дочь одну по ту сторону выключателя, не глядя.

На экране была Варя. Не лицо — лица он не видел, только затылок и плечи под простынёй за стеклом, — а её контур. Её подпись. Тот самый тонкий индивидуальный рисунок, который он умел находить и который принадлежал ей так же, как отпечаток пальца, только был живее любого отпечатка, потому что существовал лишь пока она существовала как единое «сейчас». Он держался ровно. Варе дали подышать через маску, потом пошёл препарат по катетеру, и Аркадий смотрел, как считаются те самые секунды, до которых она не должна была досчитать.

Он ждал, что подпись поплывёт. Он знал наизусть, как это выглядит на взрослых под общим наркозом: связность оседает волнами, рисунок расплывается, дробится, теряет

чёткость, будто кто-то медленно убавляет громкость, — и в какой-то момент опускается ниже порога, за которым уже нельзя сказать, есть контур или нет. Так он это себе всегда и объяснял, все годы: анестезия убавляет громкость. Приглушает. Потом восстанавливает.

Подпись Вари не поплыла волнами.

Была ровная линия — и не стало ровной линии. Между этими двумя состояниями не было склона, по которому можно проследить спуск. Был последний фрагмент рисунка, полный, живой, её, — а следующий отсчёт системы пришёлся уже на пустое место. Не на шум. Не на слабый остаток, который надо вытягивать фильтрами. На пустое. Там, где секунду назад держался контур, теперь была ровная поверхность без подписи, как гладь воды после того, как что-то ушло под неё, не оставив ряби.

Аркадий подался вперёд. Он проделал глазами то, что делал руками десятки раз с чужими записями: отмотал назад, посмотрел на переход в замедлении, кадр за кадром. Движения не было. Артефакта датчика не было — все остальные каналы шли чисто, давление, насыщение, сердечный ритм, всё в норме, тело работало исправно, наркоз стандартный, детский, безопасный. Не было ни одной технической причины, по которой рисунок должен был не осесть, а исчезнуть.

Он сидел и смотрел на пустой участок следовой связности, и в смотровой было тихо, только гудела стойка да за стеклом двигались люди в зелёном, делая свою обычную

несложную работу с носовой перегородкой девятилетнего ребёнка. Для них всё шло идеально. Пациент под наркозом, показатели ровные, операция короткая. Никто из них не смотрел на тот единственный экран, на котором не было ничего необычного по их меркам и было всё по меркам Аркадия.

Он попытался думать как утром, за своим столом, — что это эффект метода, что глубокий детский наркоз даёт более резкий переход, чем взрослый, что порог чувствительности надо перенастроить, что завтра он сядет и найдёт ошибку. Он честно пытался думать так. Мысли выстраивались правильно, профессионально, и не держались. Они соскальзывали с одного простого факта, который он видел глазами и не мог развидеть: у всех, за кем он наблюдал раньше, контур убавлялся. У неё он кончился.

Он не заплакал, не встал, не сделал ничего. Он был человек, привыкший объяснять; вся его жизнь была построена на том, что за каждым страхом стоит механизм, а механизм можно понять, а понятое перестаёт быть страшным. Он сидел в углу смотровой и ждал — не результата операции, в котором не сомневался, а того, что подпись вернётся: что через сорок минут, к концу наркоза, на пустом месте снова проступит рисунок и он сравнит его с тем, вечерним, её, и они совпадут, и он сможет наконец выдохнуть и назвать всё это сбоем разрешения. Он очень хотел, чтобы они совпали. Впервые за всю работу он ловил себя на том, что хочет опре-

делённого результата, а не просто хочет знать, — и это желание было ему неприятно, как бывает неприятно поймать себя на нечестности, но отпустить его он не мог.

Экран показывал ровную пустую поверхность там, где утром была его дочь. Он смотрел на неё и ждал, кто на ней проступит.

* * *

Операция шла тридцать пять минут. Аркадий знал это и без часов, но всё равно смотрел на часы, потому что цифры были единственным, что двигалось предсказуемо. Он не отрывался от экрана. Первые двадцать минут поверхность оставалась пустой — ровная, чистая, тело внизу дышало через аппарат, показатели держались, а подписи не было. Он говорил себе: рано. При таком наркозе рано. Контур не проступит, пока не начнут выводить.

Её начали выводить на двадцать восьмой минуте. Он видел, как меняются параметры на анестезиологической стойке, как убавляют подачу, и он подобрался, придвинулся ближе к своему экрану, и в горле у него что-то было — не мысль, а физическое ожидание, как перед тем, как из воды вынырнет человек, за которого ты боишься.

Подпись проступила на тридцать первой минуте.

Она проступила не так, как исчезла. Исчезновение было мгновенным, а возвращение — постепенным: сначала сла-

бая рябь, из тех, что не отличить от шума, потом рисунок начал собираться, набирать чёткость, укладываться в устойчивую форму. Аркадий смотрел, как она складывается, и та часть его, что была отцом, хотела только одного — чтобы она сложилась, чтобы там вообще что-нибудь было, чтобы дочь вернулась из выключенного состояния. И она собралась. Полная, живая, устойчивая подпись. Мозг работал прекрасно. Ребёнок возвращался.

Он вывел рядом вечернюю запись. Ту, что снял сам, накануне, когда Варя сидела на кровати и говорила про маску с газом. Положил две формы одну под другую, как клал уже двадцать раз с чужими данными, и в этот раз руки у него были не совсем твёрдые, и он разозлился на руки.

Формы не совпадали.

Он убрал масштаб, приблизил, наложил одну на другую — система умела совмещать записи и подсвечивать расхождения. Она подсветила почти всё. Не мелкие отклонения, какие бывают от записи к записи у одного человека в разные часы; те он знал и умел отсеивать. Это было другое расхождение — того же порядка, что между двумя разными людьми. Вечерний рисунок и утренний были из одного мозга, несли одну память, принадлежали одному телу — и были разной подписью. Не повреждённой. Не ослабленной наркозом. Другой.

Он проделал всё, что можно было проделать. Проверил, не сбились ли настройки съёма между вечером и утром, —

не сбились. Проверил, тот ли это канал, — тот. Сравнил с контрольной записью здорового добровольца, у которого была та же картина — обрыв и новый контур, — и убедился, что у Вари всё выглядит идентично, только теперь это была не строчка в чужой выборке, а его дочь. Он даже отмотал к самому переходу и ещё раз, кадр за кадром, посмотрел, нет ли всё-таки склона, спуска, чего-нибудь, что позволило бы сказать: контур не оборвался, он просто ушёл очень глубоко и вернулся. Склона не было. Была вечерняя подпись, была пустота, была утренняя подпись. Три разных вещи в понятном порядке.

За стеклом операцию заканчивали. Варе сняли простыни с лица, что-то делали с носом, тампонировали. Она была цела, здорова, всё прошло штатно, хирург, наверное, уже думал о следующем пациенте. Аркадий сидел в углу смотровой перед двумя несовместимыми графиками и понимал, что весь его метод, вся аккуратность, вся привычка не верить первому впечатлению — всё это сейчас сработало против него. Если бы он был плохим исследователем, он бы нашёл, за что зацепиться. За артефакт, за настройку, за что угодно. Он был хорошим. Он проверил всё. И всё показало одно.

Он сформулировал это про себя очень спокойно, потому что был в состоянии, когда сильные чувства ещё не пришли, а разум уже работает вхолостую, как двигатель на нейтрали. Девочка, которая вчера вечером спросила его, будет ли она утром собой, — не проснулась. Проснётся кто-то, у кого её

память, её страх операции, её обещание про мороженое, её планета в сложенном листке на тумбочке. Кто-то, кто будет уверен, что это он спрашивал вчера про маску. Кто-то настоящий. Но не она.

Он тут же попытался это отменить. Мысль была чудовищной, и он был учёный, а не мистик, и он знал сотню способов, которыми люди сами себя пугают, вычитывая в данных то, что боятся найти. Он сказал себе: ты не спал ночь, ты боялся за ребёнка, ты подключил протокол, потому что боялся, и теперь боль ищет, за что зацепиться, и цепляется за твою же работу. Это не открытие. Это горе, которое ещё не случилось, надело маску науки. Он говорил себе это честно, серьёзно, и почти поверил, и почувствовал даже облегчение — а потом снова посмотрел на два графика, и облегчение сошло, потому что графики не знали, что он не спал ночь, и что он боится, и что он отец. Они просто не совпадали.

Пришло сообщение от медсестры: операция закончена, ребёнка переводят в палату пробуждения, можно спускаться. Он выключил свой экран — сначала свёл обе формы в один файл, сохранил, подписал нейтрально, «набор, детский наркоз», рука сама сделала это по годами введшейся привычке архивировать всё, — и только потом встал. Ноги были чужие от долгого сидения.

Он спускался по лестнице, а не на лифте, чтобы было время. Между этажами он остановился на площадке, у окна, за которым был всё тот же серый двор, и постоял немного, по-

ложив ладонь на холодный подоконник. Он собирался. Он знал, что через минуту войдёт в палату пробуждения и увидит дочь, и что она откроет глаза, и узнает его, и скажет что-нибудь своё, и что он должен будет улыбнуться и сказать «всё хорошо, всё позади», потому что так надо, потому что перед ним будет ребёнок, только что перенёсший наркоз, и этому ребёнку нужен спокойный отец, а не человек с двумя графиками в голове.

Он не знал ещё, как это — любить кого-то и одновременно знать про него то, что знал он. У него не было для этого ни опыта, ни слов, ни готового спокойного объяснения, которым он привык гасить чужой страх. Впервые за очень долгое время он шёл к тому, чего не мог объяснить. Он вытер ладонь о брюки, оттолкнулся от подоконника и пошёл вниз, к ней.

* * *

Палата пробуждения была общей — несколько мест, разделённых занавесками на кольцах, приглушённый свет, тихое пиканье с разных сторон. Варю уже перевезли на её кровать, подняли изголовье. Она была бледная, с марлевым тампоном под носом, из-за которого дышала ртом, и с той особенной помятостью, какая бывает у детей сразу после наркоза, — будто их не разбудили, а вынули из сна не до конца.

Аркадий отодвинул занавеску и сел справа. Место справа

было свободно, потому что слева стояла стойка с капельницей; он сел бы справа в любом случае, но отметил про себя, что и обстоятельства сложились так, и тут же разозлился, что отмечает подобное, что теперь всё будет вот так — с двойным дном.

Варя открыла глаза не сразу. Сначала веки дрогнули, потом она поморщилась, потянула руку к лицу, к тампону, и он мягко перехватил её запястье.

— Не трогай. Так надо. Всё уже позади.

Она посмотрела на него. Взгляд был мутный, плавающий, потом собрался, нашёл его лицо, узнал. Это узнавание он видел тысячи раз — как ребёнок выныривает и находит своего взрослого, — и оно всегда было простым и хорошим, и не должно было причинять боли. Оно причинило.

— Пап, — сказала она хрипло. Горло после трубки саднило, голос был не её, чужой, сорванный. — Ты всё время был здесь?

Он знал, что она спросит именно это. Он знал это ещё на лестнице. И у него было заготовлено слово, единственно возможное слово, потому что любое другое было бы или ложью, или жестокостью.

— Да, — сказал он. — Всё время.

И это была правда. Он был здесь всё время. Он не отходил. Он проводил её до дверей блока, он сидел в смотровой, он спускался по лестнице, он сел справа. Тот, кто говорил «да», не солгал ни в одном слове. И всё-таки это было ложью

— не в словах, а глубже, там, где слова не достают. Потому что «ты всё время был здесь» спрашивал не о нём. Оно спрашивало: между тем, как я закрыла глаза, и тем, как открыла, кто-то держал ниточку, я не пропала, я — это та, кто говорила с тобой вчера про маску. И на этот вопрос его «да» отвечало неправдой, и он это знал, и она не могла этого знать, и в зазоре между тем, что он знал, и тем, чего она не знала, теперь предстояло жить.

— Странно во рту, — сказала Варя. — Гадко.

— Это от наркоза. Пройдёт.

— А нос болит.

— Немножко поболит. Тебе там всё поправили. Дышать будешь лучше, чем раньше.

Она полежала, привыкая к телу, к свету, к тому, что всё кончилось. Потом что-то вспомнила — он видел, как вспомнила, по тому, как чуть приподнялись брови, — и сказала:

— Ты не забыл?

— Про что?

— Мороженое. Ты обещал.

— Не забыл, — сказал он. — Как отпустят домой, сразу и купим. Какое хочешь.

— Шоколадное. И чтоб в стаканчике, а не в рожке, рожок протекает.

— В стаканчике, — согласился он.

Она удовлетворённо закрыла глаза, не заснула, просто отдыхала, и он сидел рядом и смотрел на неё. Он смотрел и не

мог перестать делать то, что делать было нельзя, — искать. Проверять. Он ловил себя на этом и не мог остановиться. Он смотрел, как она помнит про мороженое, и про рожок, который протекает, и про то, что шоколадное, и каждая такая деталь была ударом, потому что каждая доказывала не то, что перед ним прежняя Варя, а ровно обратное: что новый контур получил её память в полном, идеальном порядке, со всеми мелочами, вплоть до нелюбви к рожкам, — и именно поэтому был так неотличим, так убедителен, так похож. Совершенство памяти было не утешением. Оно было механизмом обмана. Если бы она забыла хоть что-нибудь, забыла мороженое, забыла его, — он мог бы назвать это болезнью, осложнением, чем угодно понятным и лечимым. Она не забыла ничего. Это было хуже всего.

— Ты чего? — сказала Варя, не открывая глаз.

— Ничего. Сижу.

— Ты как-то дышишь. Громко.

Он заставил себя выдохнуть тише. Он не знал, что дышит так, что она слышит; он вообще перестал замечать себя. Он положил ладонь ей на голову, на тёплые спутанные после наркоза волосы, и она подалась к руке, как всегда подавалась, и это движение было её, её движением, тем самым, вчерашним, третьегодняшним, младенческим, — и в этом и был весь ужас, который он ещё не умел назвать: что движение то же, а того, кто его начал, уже нет; что рука узнаёт руку, а он один во всей палате знает, что узнавать некому и не

за что держаться.

Мимо прошла сестра, глянула на Варю, на показатели, кивнула Аркадию — всё хорошо, скоро в палату. Для сестры это был удачный, скучный, штатный случай: ребёнок после лёгкой операции, отец рядом, никаких осложнений. Она видела ровно то, что было. Отец, глядящий дочь по голове. И это было правдой — он и был отцом, глядящим дочь по голове. Он завидовал сестре так остро, что почти физически, — тому, что она видит это простым.

— Пап, — сказала Варя совсем сонно. — А я быстро уснула. Я даже до пяти не досчитала. Как ты говорил.

— Как я говорил, — сказал он.

— Ты всегда правильно говоришь, — пробормотала она и наконец задремала по-настоящему, отпущенная в обычный, поверхностный, послеоперационный сон, из которого её ещё несколько раз за час разбудят проверить.

Он сидел справа и держал ладонь у неё на голове дольше, чем было нужно. Он не мог убрать руку. Убрать руку значило согласиться с тем, что он теперь знал; держать — значило хоть что-то не отпускать. Он понимал, что это глупость, что рука ничего не решает, что он сидит и гладит по голове человека, которому от этого хорошо, и что этому человеку нужен спокойный отец, а не сторож у постели. Он старался быть спокойным отцом. У него почти получалось. «Ты всегда правильно говоришь», — сказала она, засыпая, и это была последняя фраза, которую он в тот день смог выслушать

целиком, не разобрал её на части.

* * *

Домой их отпустили к вечеру следующего дня. Варя перенесла всё легко — дети переносят такое легче взрослых, — и уже к обеду ныла, что ей скучно, что она хочет домой и обещанное мороженое. Мороженое он купил по дороге, в киоске у метро, шоколадное, в стаканчике; она ела его на заднем сиденье, придерживая тампон под носом, и роняла на куртку, и он смотрел на неё в зеркало и вёл машину, и всё это было настолько обыкновенно, что несколько минут ему даже удавалось не думать.

Дома было холодно — за два дня выстыло, — и он первым делом включил обогреватель в её комнате. Варя обошла квартиру так, как обходят её вернувшиеся из больницы: трогая свои вещи, проверяя, всё ли на месте, будто квартира могла за время их отсутствия слегка переехать. Она положила сложенную планету обратно на стол, к остальным рисункам. Поставила коробочку с мелочами на полку. Сказала, что дома пахнет по-другому, и не смогла объяснить как.

К девяти она устала по-настоящему. Он покормил её тем, что нашёл, — нормально готовить сил не было, — проследил, чтобы выпила лекарство, и повёл укладывать. Всё шло как всегда. В этом и было дело. Всё шло как всегда, и каждый шаг привычного вечера теперь имел вторую сторону, кото-

рую видел только он.

Они проверили дверь. Это был их ритуал, старый, бессмысленный, из тех, что заводятся сами: перед сном Варя должна была убедиться, что входная дверь заперта, — не потому, что боялась воров, а потому, что так было заведено, и без этого она не ложилась. Он подёргал ручку, сказал: «Закрыто», она кивнула. Потом ночник. У неё на тумбочке стоял маленький ночник в виде домика, с тёплой оранжевой лампочкой внутри, и она не засыпала в полной темноте — не от страха перед чудовищами, а, как она однажды сама сформулировала, «чтобы видеть, что комната ещё тут». Он включил домик. Комната ещё была тут.

— Кто завтра раньше проснётся? — спросила она. Это была третья часть ритуала.

— Ты, — сказал он, как говорил обычно. Хотя обычно он говорил «посмотрим». Сегодня он сказал «ты», и сам услышал, что сказал не то, и она услышала.

— Ты всегда говоришь «посмотрим».

— Ну, ты. Ты всегда просыпаешься раньше.

Она приняла это, повозилась, устраиваясь, повернулась на бок к стене, потом обратно к нему. Он сидел справа от кровати, на своём месте, на низком пуфике, который стоял тут именно для этого. За окном был двор, фонарь, голое дерево. Тот же двор, что утром в день, когда всё ещё было просто, — только теперь это был другой день, и он это знал, и во дворе ничего от этого не изменилось, и это несоответствие между

тем, что он знал, и тем, что двор остался прежним, было почему-то особенно тяжёлым.

— Посиди, пока я усну, — сказала Варя.

— Посижу.

Он всегда сидел, пока она уснёт. Это не было чем-то особенным. Особенным было то, что сегодня он понял, чего именно всегда ждал, сидя тут: он ждал, пока она уснёт, чтобы уйти спокойно, потому что уснувший ребёнок — это ребёнок в безопасности. Сон был для него всю жизнь синонимом безопасности. Ты укладываешь ребёнка, он засыпает, ты выдыхаешь: на сегодня всё хорошо, до утра ничего не случится. И вот сегодня он сидел на пуфике и впервые в жизни не хотел, чтобы она засыпала. Он ловил себя на нелепом желании продлить этот вечер, говорить с ней ещё, задавать вопросы, лишь бы она не закрывала глаза, — потому что теперь он знал, что происходит, когда она их закрывает по-настоящему, глубоко, до конца.

Он смотрел на её лицо в оранжевом свете домика. Оно было усталое, спокойное, засыпающее. Он смотрел и не мог отделаться от того, что смотрит на неё как на кого-то, кого сейчас потеряет, — и одновременно понимал, что это безумие, что перед ним живой здоровый ребёнок, что она просто уснёт и утром прибежит на кухню и будет требовать хлопья и жаловаться, что нос заложен. Всё это будет. Он это знал. И всё-таки он не мог смотреть на неё иначе, чем смотрят на уходящего.

— Ты чего опять так смотришь, — сказала она, не открывая толком глаз.

— Как?

— Как будто я что-то забыла.

Он не нашёлся сразу. Она сформулировала точнее, чем он сам смог бы: он действительно смотрел на неё так, будто она вот-вот что-то забудет, — хотя правда была наоборот, забудет не она, забудут не в ней, из неё ничего не пропадёт, память сохранится вся, до последней мелочи, а исчезнет то, у чего нет имени и что нельзя забыть, потому что оно не хранится, а длится.

— Просто устал, — сказал он. — Два дня почти не спал.

— Тогда иди спи.

— Пойду. Скоро.

Она ещё что-то пробормотала, уже неразборчиво, соскальзывая, и он замер, потому что по её дыханию понял: сейчас. Сейчас она уйдёт в тот сон, который к середине ночи станет глубоким, где связность оседает и обрывается, и он вдруг с полной ясностью, впервые не как теорию, а как факт про этого конкретного ребёнка в этой конкретной кровати, понял, что человек, которому он только что сказал «пойду, скоро», — что этого человека завтра не будет. Что он сидит рядом с ней в последний раз именно с ней, с этой. Что «спокойной ночи» — это не «до завтра», а прощание, которого никто из них двоих не объявлял и одна из которых не заметит.

Он не встал, когда она уснула. Обычно он вставал сразу — тихо, чтобы не разбудить, — и уходил к себе, и это было облегчением, концом дня. Сегодня он остался сидеть. Он сидел на низком пуфике справа от кровати, в оранжевом свете ночника-домика, и не уходил, будто, пока он тут, пока он смотрит, что-то ещё держится, хотя он лучше всех на свете знал, что его сидение ничего не держит, что связность распадётся в глубокой фазе независимо от того, сидит он рядом или спит у себя, и что ночник, который позволяет видеть, что комната ещё тут, не позволяет увидеть единственное, что сейчас имеет значение.

Он не выключил свет. Он просидел так почти до утра — то задрёмывая на минуту в неудобной позе, то вскидываясь, — и каждый раз, вскидываясь, первым делом смотрел на её лицо, спокойное, спящее, ничего не знающее, освещённое тёплой оранжевой лампочкой из маленького домика, который горел всю ночь и не спас никого, потому что был не для того.

* * *

Утром она проснулась раньше него — как и было сказано. Он услышал её из кухни: звякнула миска, потом коробка хлопьями, потом полилась вода. Он лежал на своей кровати, куда перебрался под утро, в той тяжёлой пустоте, что остаётся после ночи без сна, и слушал, как за стеной начинается обычное утро, и заставлял себя не вскочить сразу.

Он вышел, когда она уже сидела за столом. Всё было как всегда: хлопья, залитые молоком и оставленные размокать, планета, придвинутая к тарелке, огрызок карандаша. Она подняла голову, сказала «привет» с набитым ртом, и это «привет» было её, обычное, и он ответил, и сел напротив, и налил себе воды, и всё это время внутри у него работало то, что он всю ночь запрещал себе включать, а теперь не мог выключить.

Он начал проверять.

Он не решал этого. Оно шло само, из той части его, что всю жизнь искала доказательство, и теперь искала не в лаборатории, а за кухонным столом. Он спросил, помнит ли она, как они в прошлом месяце ходили в парк и кормили уток и одна утка ущипнула её за палец. Она сказала: конечно помню, глупая утка, и я потом весь день боялась, что она бешеная. Всё верно. Дата, утка, страх бешенства — всё на месте. Он спросил, как звали воспитательницу в старом садике, ту, которую она не любила. Она сказала: Валентина Сергеевна, и наморщилась, вспоминая, как её не любила. Всё верно.

Он спрашивал негромко, будто просто болтает, но она не была душой. Она ела и отвечала, но между ответами всё внимательнее смотрела на него, и на четвёртом или пятом вопросе — он спросил про какую-то мелочь, про то, где лежит её любимая ручка, — она отложила ложку.

— Пап, ты чего?

— Ничего. Просто разговариваю.

— Ты меня проверяешь.

Он не ответил сразу, и это было ответом.

— Ты как в больнице, — сказала она. — Там тётя мне тоже вопросы задавала. Какой сегодня день, как меня зовут, сколько мне лет. Это чтобы проверить, что с головой всё нормально. Ты меня так же спрашиваешь.

— Я не проверяю голову, — сказал он, и это была правда, и от этого только хуже, потому что то, что он проверял, было куда безнадежнее любой проверки на сотрясение. — Я просто вспомнил про уток.

— Ты не про уток вспомнил, — сказала она. Ей было девять, и она умела читать его лучше, чем он думал; дети вообще читают родителей лучше, чем родители детей, потому что от этого зависит их жизнь. — Ты какой-то с больницы стал. Ты на меня смотришь и как будто ждёшь, что я неправильно отвечу.

Он посмотрел на неё — по-настоящему, отложив на секунду всё, что копошилось внутри, — и увидел то, чего в своём ужасе почти перестал видеть: что ей неприятно. Что он делает ей неприятно. Что она сидит за своим завтраком, за своими размокшими хлопьями, вернувшаяся из больницы, и вместо отца, который рад, что всё позади, напротив неё сидит человек, который экзаменует её и явно недоволен ответами, хотя ответы правильные. Он причинял ей боль. Не той, прежней, которой не было, а этой, живой, сегодняшней, — той девочке, что сидела перед ним и ела кашу. Он так был

занят потерянной, что не заметил, как обижает настоящую.

— Прости, — сказал он. — Ты права. Я дурак. Я не спал две ночи и туплю.

— Ты не туплю, — сказала она, всё ещё настороженно. — Ты странный.

— Странный, — согласился он. — Это пройдёт. Ешь.

Она ещё немного посмотрела на него, решая, верить или нет, потом всё-таки вернулась к хлопьям — голод у девяти лет сильнее подозрений. Но что-то осталось. Он видел, что осталось. Она теперь ела и поглядывала на него, и он понял, что своими вопросами сделал ровно то, чего боялся больше всего: он начал терять её. Не потому, что она подменилась ночью, — это случилось без него, тихо, и она этого не знала и жила себе дальше, — а потому, что он сам, своими руками, своим взглядом, своими проверками, строил между собой и ней стену, которой без него бы не было. Он пытался поймать доказательство утраты и этим единственно возможным способом делал утрату настоящей. Прежней Вари было уже не вернуть, но эту, живую, он мог потерять по-настоящему, если будет и дальше смотреть на неё как на самозванку, — и она отодвинется, замкнётся, перестанет подвигать ему место справа.

Он встал, обошёл стол, сел рядом с ней и обнял — неловко, сбоку, потому что она ела и не ждала этого. Она напряглась от неожиданности, потом расслабилась.

— Ты чего?

— Ничего. Соскучился.

— Ты меня вчера весь день видел.

— Всё равно.

Она позволила себя обнять, пожав плечами, снисходя к непонятному настроению взрослого, и он держал её и чувствовал под руками её тепло, её живое дыхание, размеренное жевание, — и заставлял себя не думать про контуры, про подписи, про то, кем она была вчера и кем стала сегодня. Он заставлял себя думать только про то, что она есть, сейчас, тёплая, настоящая, обижающаяся на его вопросы, любящая хлопья кашей. Это было единственное, что он мог для неё сделать, — перестать её терять. Получалось плохо. Но он хотя бы понял, что это надо делать, и это уже было не там, где он был вчера.

— Отпусти, я ем, — сказала Варя, и он отпустил.

Она вернулась к тарелке. Он сел на своё место напротив и больше не задал ни одного вопроса. Он смотрел, как она рисует что-то на полях планеты, — и держал руки на столе, и молчал, и это молчание давалось ему тяжелее, чем любые вопросы, потому что молчать значило не проверять, а не проверять значило признать, что проверять бессмысленно, что то, что он ищет, уже случилось и не отменится, и что единственное, что ему осталось, — любить ту, которая перед ним, не требуя от неё доказательств, что она — прежняя. Он ещё не умел этого. Но он сидел и молчал, и это было началом.

Он вышел на работу через день — оставаться дома дольше было нельзя, да и невозможно: дома он только смотрел на дочь и молчал, а от этого молчания оба уставали. В лаборатории его ждала Гришина выборка, та самая, которую он заказал в тот вторник, ещё до операции, ещё когда «нестабильный повторный контур» был для него любопытной строчкой, а не приговором. Гриша собрал всё честно, аккуратно, как умел, и свалил в одну папку с сухим именем, и уехал на выходные к родителям, не подозревая, что положил Аркадию на стол.

Аркадий остался в лаборатории один, в субботу, когда в отделении никого. Он любил это время раньше — пустое здание, тишина, никто не заглядывает, — и пришёл сюда именно поэтому: то, что он собирался делать, не хотелось делать при людях.

Он открыл выборку. Записей было много, больше тысячи, — все ночные сессии за шесть лет, все наркозы, все реанимационные седации, всё, к чему когда-либо прицепилась пометка про повторный контур. Он не стал смотреть их подряд. Он выстроил единую процедуру: для каждой записи взять вечернюю подпись, взять утреннюю, наложить, посчитать расхождение. Ту самую операцию, что он проделал руками с Варей. Только теперь — на всех сразу, машиной, без имён, без лиц, без своей боли в руках.

Он запустил счёт и ждал, пока прогонится. Это заняло почти час; он сидел, пил остывший кофе, оставшийся с пятницы, смотрел в окно на пустой субботний двор и старался ни на что не надеяться, потому что понимал: сейчас будет одно из двух. Либо машина покажет, что расхождение Вари — редкость, выброс, что у большинства подписи после сна почти совпадают, и тогда он сможет вернуться к мысли, что с дочерью случилось что-то особенное, редкое, может быть, поправимое. Либо машина покажет второе. И он не знал, какого из двух исходов боится больше: первого, оставляющего дочь особенной жертвой неизвестного, или второго, отбирающего у неё исключительность, но взамен превращающего его открытие из семейной беды в закон, касающийся всех.

Счёт закончился. Он вывел распределение.

Оно было почти без вариантов. Подавляющее большинство записей давало то же, что дала Варя: вечерняя подпись и утренняя расходились на величину, сопоставимую с разницей между двумя разными людьми. Совпадений — настоящих, когда рисунок переживал ночь, — было мало, единицы процентов, и все они приходились на записи, где человек либо не проваливался в глубокую фазу, либо спал очень поверхностно, урывками, тревожно. Там, где был нормальный, здоровый, глубокий сон, — там был обрыв и новый контур. Каждый раз. Не как исключение. Как правило.

Он смотрел на распределение долго. Это была не его дочь. Это были тысяча человек. Взрослые, дети, старики, здоро-

вые добровольцы, пациенты после наркоза, люди в реанимации. Все, кто когда-либо провёл ночь под его датчиками. Все они ложились и вставали, и все были уверены, что встали собой, и все помнили свой вечер, и почти ни у кого вечерний контур не пережил ночь. Пометка «нестабильный повторный контур» стояла у них не зря. Она была самой честной строчкой во всей его базе. Просто её никто, включая его, не читал буквально.

Он проверил очевидное, потому что был обязан. Убрал из выборки все записи с плохим качеством сигнала, где расхождение могло быть от помех, — картина не изменилась. Оставил только здоровых добровольцев без единой патологии, с идеальным съёмом, — картина не изменилась, стала только чище. Взял несколько человек, которые спали у них по многу ночей, и посмотрел, что у них подпись меняется не только между «вчера» и «сегодня», а каждую ночь новая, и позапрошлая не похожа на прошлую, и прошлая на сегодняшнюю, — цепочка разных рисунков, тянущаяся через недели, и каждый рисунок держится один день, от пробуждения до глубокой фазы, и уступает место следующему.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.